

## ЗАКОН ЖИЗНИ.

По поводу некоторых произведений гр. Л. Толстого.

### 1.

Усиленное искание правды в жизни, стремление согласовать поступки с основными теоретическими принципами составляет, как уже давно было замечено, одну из характернейших черт русского духа. На низших ступенях она выражается в своеобразном отношении к религиозному учению, особенно в столь разнообразном и распространенном сектантстве; на высших стадиях она проявляется в виде философских учений, носящих явно практический характер. Хотя обыкновенно эти учения переносятся к нам с Запада более или менее готовыми, однако же, нельзя не заметить своеобразного отношения к ним русских мыслящих людей, выражающегося, главным образом, в стремлении как можно цельнее и быстрее провести теоретические принципы на практике.

Наблюдая русскую крестьянскую жизнь, вам бросается в глаза та важная роль, какую в ней играет толкование св. писания. В этом легко убедиться, слушая разговоры великорусских крестьян, случайно собравшихся где-нибудь без дела, например, на палубе парохода, плывущего по Волге. Беседы на самые разнообразные темы скоро переходят у них в оживленные прения по вопросам религиозного свойства, при чем обнаруживается и богатство познаний по этой части, и тонкая диалектика.

О чем бы ни зашел разговор среди учащейся молодежи и вообще в более образованных кружках, он быстрыми скачками переходит от частных вопросов к самым общим и считается пресным и неинтересным, если в нем не затрагивают основные принципы человеческих поступков и их цельное проведение в жизнь. То же отражается в литературе и в науке. Самые выдающиеся беллетристические произведения выставляют передовых деятелей, развивающих свои взгляды на эти темы. Со стороны ценителей громко заявляется требование, чтобы в современном романе, в популярной статье или на публичной лекции было выставлено воззрение автора на основные вопросы: что делать и как согласовать поведение с принципами правды.

Неудивительно, что при таком спросе все мыслящее русское общество отнеслось с особенным интересом к повествованиям

гр. Л. Толстого об искании правды героями его гениальных романов и рассказов. Интерес этот еще более усилился, когда оказалось, что за этими героями скрывается сам автор, и когда последний обстоятельно и откровенно раскрыл перед читателями историю своих собственных попыток разрешить одну из труднейших задач, представляющихся для человеческого ума.

Впечатление и влияние, произведенные проповедями гр. Л. Толстого, оказались тем сильнее, что в учениях его была особенно выдвинута прикладная сторона и прямо сказано, как нужно устроить поведение во всех главных случаях жизни. Искатели правды не только зачитывались гр. Толстым, обсуждали и отстаивали положения его учений, но и проводили последние в жизнь, основывая особые общезнания и братства. Учение доходило в некоторых случаях до того, что молодые ученые бросали науку, жгли приготовленные диссертации и вступали в общины для обновленной жизни в сфере почти исключительно физического труда.

## II.

Несмотря на трудность задачи,—ввиду разбросанности, нервного характера изложения и частых противоречий гр. Л. Толстого,—попытаемся найти коренную сущность его воззрений, род ключа, при помощи которого можно бы было раскрыть это сложное построение.

Я только потому и решился заговорить об учениях гр. Л. Толстого, что в основу их положен им чисто рационалистический, естественно-исторический принцип: человек есть животная машина, своеобразно устроенная и пригодная для совершенно определенных действий. Если последние строго соответствуют механизму этой машины, то в результате получается счастье, а вместе с ним чувство довольства и удовлетворения; если же такого соответствия нет и отправление не достаточно отвечает устройству механизма, то получается несчастье, сопровождающееся тягостными ощущениями. Принцип этот возводится на чисто зоологической почве и подкрепляется гр. Л. Толстым примерами из животного мира. „Птица,—говорит он,—так устроена, что ей необходимо летать, ходить, клевать, соображать, и когда она все это делает, тогда она удовлетворена, счастлива—тогда она птица. Точно так же и человек, когда он ходит, ворочает, поднимает, таскает, работает пальцами, глазами, ушами, языком, мозгом, тогда только он удовлетворен, тогда только он—человек“ (Сочинения, изд. 1887, ч. XII стр. 442). Гр. Л. Толстой много раз повторяет те же основы и прямо заявляет, что „исполнять закон жизни—делать то, что *свойственно* не только человеку, но и животному“ (стр. 436), т. е. животному в смысле сложно-устроенного механизма. Даже в одном из новейших произведений своих—„Крейцеровой сонате“, где гр. Толстой в столь многом отступает от своих прежних воззрений, он не раз меряет разбираемые им поступки тем же масштабом „естественности“.

Гр. Л. Толстой пришел к формулированному им принципу путем продолжительного умственного труда и, раз остановившись на нем, предположил, что открыл новый и притом очень ясно выраженный закон, как это видно, между прочим, из следующего места: „И когда я ясно понял все это, мне стало смешно. Я целым рядом сомнений, исканий, длинным ходом мысли пришел к той необыкновенной истине, что если у человека есть глаза, то затем, чтобы смотреть ими, и уши, чтобы слышать, и ноги, чтобы ходить, и руки и спина, чтобы работать. И что если человек не будет употреблять этих членов на то, на что они предназначены, то ему будет хуже“ (XII, 436).

Найдя этот основной принцип и утвердившись на нем, как на аксиоме, гр. Толстой не трудно было вывести из него ряд руководящих правил практической жизни.

Прежде всего он убедился в естественно-исторической необходимости значительного физического труда, как одного из основных элементов счастья. То, что сказано в библии „как закон человека: в поте лица снеси хлеб“, нашло себе явное подтверждение в определенном им принципе.

Уже одно выведение на первый план физического труда, как естественно-исторически необходимого залога счастья, значительно изменило взгляды и поступки людей из так называемого интеллигентного круга, односторонне увлекшегося умственным трудом. Оно сразу, и притом в значительной степени, уменьшает разделение труда между людьми и тем устраняет одну из главных причин несправедливости и несчастья. Когда люди последуют за гр. Толстым, „тогда только уничтожится то ложное разделение труда, которое существует в нашем обществе, и установится то справедливое разделение труда, которое не нарушает счастья человека“ (XII, 441).

Везде, где только гр. Толстой касается вопроса о труде, он каждый раз возвращается к тому же основному принципу и выводит из него те же практические результаты.

В вопросе о назначении и поведении женщины он следует тем же путем. Из естественно-исторического закона, по которому женщина есть животный механизм, приспособленный к рождению детей, вытекает, что вся ее деятельность должна быть направлена к этой цели. „Женщина,—говорит гр. Толстой,—по *строению своему* призвана, привлечена неизбежно к тому служению, которое одно исключено из области служения мужчин“ (XII, 467). Это основное положение, опирающееся на анатомические данные, повторяется им много раз и развивается в ряд дальнейших выводов. „Идеальная женщина,—по мнению гр. Толстого,—будет та, которая, усвоив высшее миросозерцание того времени, в котором она живет, отдается своему женскому, *непреодолимо вложенному в нее призванию*,—родит, выкормит и воспитает наибольшее количество детей, способных работать для людей по усвоенному ей миросозерцанию. Для того же, чтобы усвоить себе высшее миросозерцание, мне кажется, нет надобности посещать курсы, а

нужно только прочесть евангелие и не закрывать глаз, уши и, главное, сердца" (XII, 470).

Хотя при отыскании руководящего правила в сношениях с людьми гр. Л. Толстой более следовал непосредственному чувству, тем не менее, и тут мы видим стремление подвести это правило под основную формулу его рационалистической этики. Так, он считает неподлежащим спору, „что не то что мучить или убивать человека, но мучить собаку или убить курицу и теленка *противно и мучительно природе человека*“ (В чем моя вера, стр. 37).

Казалось бы, что, придя к воззрениям, опирающимся на естественно-исторические данные, гр. Л. Толстому следовало бы смотреть на точную науку и ее выводы как на истинное основание учения о человеческих поступках. Поэтому с первого взгляда может показаться очень непоследовательным и странным вполне отрицательное и притом в высшей степени страстное отношение его к современному положительному знанию. Из того, что в своих нападениях гр. Толстой как-будто выгораживает иногда „истинную науку и истинное искусство“, которые „так же необходимы для людей, как пища и питье, и одежда, даже необходимее“ (XII, 408), можно, пожалуй, подумать, что негодование его направлено исключительно против цеховой науки и цехового искусства, которые столь часто действительно тормозят преуспевание этих высших отраслей человеческой деятельности. Но ближайшее знакомство с полемикой графа Толстого убеждает в том, что он нападает на самую настоящую науку, которой так долго и так упорно пришлось отстаивать себя в борьбе именно против цеховой науки. Так, например, он раздражается гневом против теории, теперь, наконец, общепризнанной, о постепенном происхождении органических видов путем накопления и укрепления мелких отличий (XII, 382) и презрительно насмехается над учением о клеточке и протоплазме (XII, стр. 398, 399 и т. д.), которое получило в современной науке об организмах первенствующую роль. Третируя, таким образом, самые выдающиеся и наиболее прочно установленные обобщения современной биологии, гр. Толстой не находит достаточно язвительных слов, чтобы выразить свое презрение и к фактическим работам, как, например, к исследованию глистов или насекомых (XII, 399, 414 и пр.). По его мнению, истинная наука может быть признана только в том случае, если она сразу ставит и решает вопрос, „в чем состоит назначение и благо всех людей“; а так как для этого нет никакой надобности (гр. Толстой забывает, что его собственный главный принцип поведения основан именно на сравнении с отправлениями животных) в изучении насекомых, глистов, протоплазмы и пр., то занятия этими предметами он и признает „праздной и вредной забавой“ (XII, 411).

Мы не станем приводить здесь подробнее нападений гр. Толстого на науку, так как все они представляют развитие того же основного положения; с аргументацией же автора нам придется еще встретиться неоднократно. Скажем только вообще, что, чувствуя себя на прочной почве „закона жизни“, установленного на

рационалистическом основании, гр. Толстой выработал себе до подробностей кодекс правил поведения, а заметив разлад последних с некоторыми положениями науки и вообще современной культуры, ополчился и стал проповедывать крестовый поход против этих последних.

### III

Определив, насколько было возможно, основной характер принципа практической философии гр. Толстого и некоторых извлеченных им из него выводов, попытаемся взглянуть несколько ближе на это учение, применив при этом метод и приемы точного естествознания. В случаях, когда последнее встречается с сложной задачей, оно всегда старается упростить ее решение, проследив исторический ход изучаемого явления.

С тех пор, как возникли попытки возведения начал человеческой нравственности на рационалистическом основании, их постоянно старались вывести из свойств человеческой природы. Так было в древней Греции, где философы проповедывали, что „счастье заключается в выполнении всех естественных действий и состояний“, и где развилось метриопатическое учение о сообразовании нравственной жизни с природою человека.

Более тринадцати лет назад я напечатал (Вестн. Европы, 1877, апрель) „Очерк воззрений на человеческую природу“, в котором читатель может найти краткое изложение нравственных учений, основанных на естественной природе человека. Там же было указано на столь распространенное у греков и перешедшее в новые времена воззрение на гармоническое развитие всех естественных человеческих способностей, как на цель истинно нравственного поведения. Рядом с учением о природных свойствах человека, как источниках нравственных обязанностей, возникла и теория о „естественном праве“. Связь эта сознавалась уже давно, как это можно видеть из следующего отрывка, заимствованного Боклем у Гютчисона: „Так как, в сущности, все наши естественные желания и стремления, даже и низшего разряда, даны нам на благо, то справедливо удовлетворять им настолько, чтобы они не мешали более благородным наслаждениям и достаточно им подчинялись; со всеми ими как будто сопряжено естественное понятие о *праве*“ (Бокль, II, прим. 28 к стр. 372).

Писатели новейшего времени и, между прочим, натуралисты, несмотря на обвинение их гр. Толстым в том, что они вовсе не занимаются вопросом о назначении и благе человека, неоднократно пытались решить его и притом в том же духе, как и у древних философов. В своей вышеупомянутой статье я, между прочим, привел воззрения ревностного дарвиниста, естествоиспытателя, Георга Зейдлица, который в 1875 году выставил следующее положение: „В удовлетворении всех отправлений тела в должной степени и взаимном отношении друг к другу заключается рациональная и нравственная жизнь“. От этого общего принципа до основы, развиваемой гр. Л. Толстым, один шаг, и

если из него и нельзя сделать прямого вывода о таком распределении физического и умственного труда, которое предлагает гр. Л. Толстой, то во всяком случае из него ясно вытекает необходимость более или менее равномерного упражнения этих обоих видов отпращиваний.

Хотя гр. Толстой, очевидно, не сообразовался ни с этими взглядами новейших писателей, ни с учениями греческих философов и рационалистов семнадцатого и восемнадцатого веков, доходя до своего решения более самостоятельным путем, тем не менее, связь его основ с этими учениями не может подлежать сомнению. Эта связь еще более доказывается тем, что возражения против последних могут быть с одинаковым правом выдвинуты и против воззрений гр. Толстого. Прежде всего нужно заметить, что все эти основы и теории задевают вопрос лишь с поверхности и к тому же страдают чересчур большой неопределенностью. Так, например, при обсуждении положения Зейдлица бросается в глаза отсутствие признаков той „должной степени“, в которой должны удовлетворяться отправления человеческого тела. А относительно того, что „свойственно“ природе человека, мнения могут до того расходиться, что из этого принципа можно притти к самым противоположным выводам. Так это и было во все времена. Греческие школы, согласные в том, что нужно жит-сообразно с природою человека, были совершенно противоположного мнения о естественности наслаждения. Эпикурейцы считали последнее за естественное благо, то-есть сообразное с природою и удовлетворяющее собою состояние каждого существа, между тем как стоики учили как раз наоборот.

В настоящее время положительное знание настолько подвинулось вперед, что и в вопрос о „жизни, сообразной с природою“, может и должно быть внесено гораздо больше определенности и ясности. Оно уже не может удовлетворяться тем поверхностным порханием мысли, которое казалось достаточным прежде. И гр. Толстой в своей главной аргументации лишь слегка затрагивает основной вопрос. Желая утвердить принцип нравственного поведения на рационалистической почве, он говорит: „Птица так устроена, что ей необходимо летать, ходить, клевать, соображать, и когда она все это делает, тогда она удовлетворена, счастлива, тогда она—птица“. Это верно лишь с первого, самого беглого взгляда. Не нужно быть зоологом для того, чтобы знать, что можно быть птицей и вовсе не летать. Таковы страусы, казуары, пингвины. Но, скажут, это крайности, так как у этих исключительных птиц крылья недостаточно развиты. Поэтому не мешает вспомнить многочисленных представителей куриных птиц, которые, несмотря на присутствие достаточно развитых крыльев, предпочитают пользоваться ногами и летают лишь в исключительных случаях. Особенно поучителен следующий пример. Южно-американская головастая утка, несмотря на присутствие развитых крыльев, пользуется ими только для того, чтобы перелетать над поверхностью воды. Доказательством того, что она утратила способность настоящего полета, служит факт, что в молодости

эта порода уток летает так же хорошо, как и другие представители утиных.

Нередко полное пользование крыльями, доставляя животному некоторое преходящее „удовлетворение“, ведет, однако же, к гибельным для него последствиям, вследствие чего такое животное не может быть „счастливым“. Подобные примеры мы встречаем особенно у насекомых. Ученые были поражены фактом, что между жуками океанических островов очень многие лишены крыльев, несмотря на то, что их материковые родичи снабжены ими вполне. Факт этот объясняется, по теории Дарвина, предположением, что насекомые, летавшие вблизи океана, часто заносились в море и погибали в нем, и что поэтому на океанических островах должны были вымирать жуки, сохранившие способность полета, а выжили, главным образом, такие, которые, по словам Дарвина, „либо от малейшего недостатка в развитии крыльев, либо от *прирожденной лени* подвергались в меньшей мере опасности быть занесенными в море“ („Происх. видов“, русск. перевод, 1873, стр. 108).

Предположим для удобства, что жуки океанических островов могли рассуждать о своих поступках так же, как люди. Если бы между ними находились последователи учения гр. Толстого, то они должны бы были решить, что так как у них есть крылья и они, следовательно, „так устроены, что им необходимо летать“, то „неестественно“ воздерживаться от воздушных странствований и нужно предпринимать их без всякого дальнейшего размышления. В результате большинство этих последователей было бы занесено в море, а более счастливыми оказались бы жуки, находившиеся в оппозиции и решившие, что, несмотря на их природное устройство, им нужно как можно менее пользоваться своими крыльями. Уоллестон, наблюдавший образ жизни насекомых на Мадейре, отметил факт, что тамонские крылатые жуки большей частью скрываются, пока не засветит солнце и не утихнет ветер, т.-е. что они развили в себе особенную осторожность в употреблении крыльев, благодаря которой они и могли удержаться, несмотря на близость океана.

Все это не случайно выхваченные примеры для того, чтобы показать несостоятельность зоологической аргументации гр. Толстого, а лишь иллюстрация самого общего положения, что организм животного не есть нечто прочное, данное раз навсегда, но, напротив, нечто весьма изменчивое и притом изменчивое под влиянием привычек, идущих иногда даже в разрез с анатомическим устройством. Раз же организм изменчив, то и то, что „свойственно“ ему, также непостоянно.

Применим эти выводы к человеку. По мнению гр. Толстого, подобно тому, как птица счастлива только тогда, когда она упражняет все свои органы, „точно так же и человек, когда он ходит, ворочает, поднимает, таскает, работает пальцами, глазами, ушами, языком, мозгом, тогда только он удовлетворен, тогда только он—человек“. Это нужно понимать именно в смысле учения о гармоническом отправлении всех органов, как прочных

основ, составляющих постоянное и неотъемлемое свойство человеческого организма. Посмотрим же, чему учит наука о человеке. Оказывается, что человек, являясь результатом очень длинного и притом одностороннего генетического процесса, имеет целую сумму органов, уже утративших свое значение, и немало таких, которые, хотя и могут совершать свое отправление, но видимо идут к полному упадку. Органы эти вдвойне интересны, так как с одной стороны, они показывают неосновательность преклонения перед данной организацией и черпания из нее основ поведения, а с другой стороны, они являются неопровержимыми доказательствами происхождения человека от других, более низких организмов.

У ребенка, еще не выучившегося ходить, ступня и пальцы ног способны к гораздо более разнообразным движениям, чем взрослого человека; сгибательные движения стопы и хватательные — пальцем ноги — у него совершаются легко. В основе этих движений заложены мускулы, которые могут быть развиты посредством упражнения, как мы и видим это у тех безруких, которые выучиваются писать и рисовать кистью ноги. У некоторых „дикарей“, ноги которых никогда не бывают стеснены обувью, движение ступней и пальцев ног гораздо свободнее. Вообще же нога взрослого человека, становясь органом поддержания тела в вертикальном положении и передвижения его, постепенно утрачивает разнообразные движения стопы и пальцев, при чем утрачиваются (в более или менее полной степени) и некоторые мускулы.

С точки зрения учения гр. Л. Толстого следует развивать рукообразные движения стопы, так как они составляют природное „свойство“ человеческого организма и поэтому совершенно „естественны“. Обувь же, которая сковывает стопу, мешая движению ее частей, является, таким образом, противоестественным изобретением культуры, которое необходимо устранить (Знаменитые сапоги, о которых так часто говорилось по поводу сапожной деятельности гр. Л. Толстого, должны быть безусловно забракованы, на основании его же собственного учения).

Анатомическое устройство и развитие человеческой ноги ясно указывают на то, что она развилась из конечности, подобной руке, т. е. что предки человека могли ступнею обхватывать различные предметы и двигали пальцами ног приблизительно так же, как многие обезьяны. Эти сложные и разнообразные движения утрачивались постепенно, при чем ступня, все более и более упрощаясь, превратилась в цельный малоподвижный орган. Несмотря на сохранившиеся еще задатки более сложного развития ступни, не представляется ни малейшей надобности развивать ее за исключением единичных случаев, когда, за неимением рук, человек упражняет свою ступню, да и то не ради удовлетворения непосредственной потребности в действии существующим органом, а ради стремления наполнить жизнь сложной механической работой (писать, шить, рисовать).

Не только ступни и нижние конечности вообще, но и весь организм человека переполнен органами, которые хотя и могут



еще действовать, тем не менее клонятся к явному упадку, а также—и притом в еще большей степени—органами уже совершенно заглушенными, так называемыми остаточными, или рудиментарными. Известный анатом Видерсгейм собрал в очень интересном очерке <sup>1)</sup> все данные, относящиеся к этому предмету. Из приложенного им перечня оказывается, что на девять органов, представляющих у человека явные следы прогрессивного развития (головной мозг, мускулы рук и лица, седалищные мышцы, расширение крестца и входа в таз, а также лопаток), приходится двенадцать органов, идущих к упадку, хотя и способных еще совершать свои отправления (упрощение мускулов ноги и ступни, а также пирамидальной мышцы, 11 и 12 пары ребер, обонятельные бугры и носовые раковины, слепая кишка, клыки и пр.) и семьдесят восемь рудиментарных органов, или вовсе недеятельных, или же способных к отпращиванию только в очень слабой степени. Органы этой последней категории, представляющие остатки животных предков различных степеней, рассеяны почти по всем органическим системам человека. Тут мы находим остатки и хвоста с его мускулами, и несколько лишних пар ребер, а также ушных и затылочных мышц и нервов, червеобразный отросток слепой кишки, зубы мудрости и придаточные зубы, остатки шерсти и пр. и пр. Одним словом, эти многочисленные органы ясно свидетельствуют, что в человеческом теле заключается остаток целого ряда чисто животных предков, некоторое наследие которых еще и теперь не окончательно угасло и дает себя чувствовать в той или другой форме.

Вот что такое, следовательно, человеческая природа, которую ставят в основу нравственной жизни. Низшее животное сидит в нем еще далеко не заглушенным, а способным, напротив, вырваться наружу. Предоставьте ему только свободно развиваться на том основании, что оно составляет „естественное свойство“ нашего организма, и оно не замедлит вырваться.

Человеческая природа, такая, какую ее раскрывает перед нами наука, не указывает также и на существование особого закона гармонического развития отдельных частей. Рядом с прогрессивным развитием лишь немногих органов совершается регресс в области гораздо большего количества аппаратов. Человек явился в результате одностороннего, а не всестороннего усовершенствования организма и примыкает он не столько к взрослым обезьянам, сколько к неравномерно развитым их зародышам. С точки зрения чисто естественно-исторической, человека можно бы было признать за обезьяньего „урода“, с непомерно развитым мозгом, лицом и кистями рук.

Не обнаруживая следов равномерного развития всех систем органов, человеческая природа не представляет нам и достаточной гармонии с нашими стремлениями и требованиями от нее. Положение это, развитое мною в нескольких статьях <sup>2)</sup>, всего

<sup>1)</sup> Der Bau des Menschen. Freiburg, 1887.

<sup>2)</sup> Вестн. Европы, 1871, I; 1874, I; 1877, II.

лучше иллюстрируется примерами из области органов размножения, как одной из наиболее сложных органических систем. Различные аппараты, входящие в эту систему, развиваются не рука-об-руку, как это бы следовало с точки зрения человеческих стремлений и интересов. Чувствительная часть аппарата развивается гораздо раньше и сохраняется часто гораздо дольше, чем самые существенные из этой системы органов. Отсюда широкий разлад между отделами механизма, который бы должен был действовать в строгом согласии, и источник многочисленных страданий и так называемых „неестественных“ действий.

Изучение других органов человека также убеждает в том, как далеко их устройство от того идеала, который может формулировать наука. В одной из моих цитированных статей я уже приводил мнение И. Мюллера и Гельмгольца о несовершенстве нашего глаза, при устройстве которого „природа как бы нарочно скопила противоречия для того, чтобы устранить все основания теории предсуществующей гармонии между внешним и внутренним миром“.

Одним из основных источников разлада и дисгармонии является то, что человек, происшедши от животных, живших в одиночку или небольшими стадами, должен был развиваться в существо с самой широкой общественностью. В этом пункте и заключается самое больное место его природы, которая в этом-то направлении и подлежит самой капитальной переделке.

В результате всего этого ряда соображений получается вывод, что зоологический принцип, по которому устройство организма должно служить критерием поведения, не может быть признан за пригодную к руководству основу нравственной жизни. Действуя всей суммой готовых, способных к отправлению органов, мы тем самым санкционируем *консервативный* принцип, не взирая на могущие произойти отсюда невзгоды. Таково, например, летание, в случаях когда развиты крылья, но когда это движение приводит к беде. Развивая же все „естественные, врожденные свойства“, даже такие, которые уже клонятся к упадку, мы можем вызвать *возвратное развитие*, т.-е. вернуться к таким животным свойствам, которые уже были более или менее устранены. Таким образом, человек мог бы вернуться на степень четверукого животного, если бы стал усиленно развивать „естественно свойственные“ ему задатки мышц стопы.

#### IV.

Для того, чтобы лучше уяснить значение вышеприведенной критики, попытаемся применить ее к частным положениям учения гр. Толстого.

Одно из основных положений этого учения заключается в проповеди физического труда, которому всякий человек должен предаваться в усиленной степени, для того, чтобы, повинаясь единственно разумному и верному „закону жизни“, идти по пути

к истинному счастью. Руки и ноги должны служить для физического труда, т.-е. для того, на что они „даны“, „а не на то, чтобы они атрофировались“ (XII, 450). Следуя этому правилу, гр. Толстой решил, что человек, вполне способный к умственному труду, должен прежде всего собственными руками делать всю работу, необходимую для удовлетворения его физических потребностей. Поэтому „на вопрос, что нужно делать,—явился самый несомненный ответ: прежде всего, что мне самому нужно—мой самовар, моя печка, моя вода, моя одежда,—все, что я могу сам сделать“ (XII, 432). В результате получилось такое распределение времени, что из шестнадцати часов ежедневного бодрствования гр. Толстой стал употреблять восемь на физический труд (4 на ремесло, 4 другие на более грубую работу), четыре—на умственный труд и столько же на общение с людьми. Следствием такого изменения образа жизни, введшего правильное чередование разных родов труда, явилось ощущение неиспытанного до той поры благополучия и довольства, отразившихся, по мнению гр. Толстого, и на качестве произведений его умственного труда.

Если все люди последуют этому примеру и станут жить сообразно с „законом жизни“, то тогда „уничтожится то ложное разделение труда, которое существует в нашем обществе, и установится то справедливое разделение труда, которое не нарушает счастья человека“ (XII, 441). Противоположное мнение людей науки доказывает только, что последние идут по совершенно ложному пути под влиянием желания освободить себя от всякого дела и оправдать неестественное и несправедливое поглощение чужого труда. Наука вообще, такая, какой она большей частью является в наше время, не заслуживает никакого внимания и уважения, так как она, прилепившись к сильным мира сего, идет наперекор здравому смыслу и ищет лишь оправдания тунеядства и праздности.

Хотя многие органы человека и животных „даны“ именно „на то, чтобы они атрофировались“, т.-е., другими словами, что человек и животные унаследовали от своих предков, между прочим, такие органы, которые для их же благополучия должны были или должны будут атрофироваться, и хотя у человека такие атрофические явления и произошли в значительной степени в ногах (как мы видели в предыдущей главе), тем не менее, никто не станет серьезно утверждать, чтобы передние и нижние конечности должны были целиком или в значительной степени атрофироваться. Но от этого до необходимости для людей, способных к умственному труду, упражнять их в течение восьми часов ежедневно—целая пропасть. Многие виды умственной работы сами по себе уже требуют мускульного труда. Таким образом, именно занятие большей частью естественных наук сопряжено часто с значительным упражнением мускулов конечностей, особенно рук. Лабораторная техника со всеми ее усложнениями и усовершенствованиями сама по себе уже обеспечивает ученого от излишнего ослабления мышечной системы. Если на это скажут, что занятия многими науками не представляют подобной гарантии, то

можно возразить, что если уж следует отдавать часть времени на упражнение мускулов, то пусть такие ученые займутся лучше физикой, химией или биологией, так как эти специальности, сопряженные с физическим трудом, будут для них гораздо полезнее, чем умение ставить самовары, тачать сапоги и т. п. занятия.

Отнюдь не сомневаясь в том, что некоторая физическая работа очень желательна, а иногда просто необходима для людей умственного труда, следует, однакоже, признать преувеличенными часто повторяющиеся отзывы о несовместимости серьезного и упорного умственного труда с бездеятельностью мускульной системы. Между большими полушариями головного мозга и мышцами вовсе не существует такой тесной зависимости, чтобы недоразвитие или болезнь одного из этих органов необходимо вызывали соответствующее изменение и в других. Между этими органами нет и подобия такого соотношения, как, например, между половыми органами и волосами на лице, когда недоразвитие первых обязательно влияет на развитие бороды и усов. Между нервной и мускульной системами иногда замечается даже обратное отношение, т. е. усиленное развитие одной рядом со слабостью другой, подобно тому как нередко недоразвитые или вовсе атрофированные органы заменяются в своем отправлениях другими. Это наблюдается именно в мышечной и железистой системах; так, здоровая почка усиленно развивается, принимая на себя роль больного органа.

Поражение органа умственной деятельности, ведущее к полной потере рассудка, нередко совмещается с очень значительным развитием мышечной системы и вообще с цветущим физическим состоянием. И, наоборот, самая интенсивная умственная работа вяжется со слабым здоровьем вообще и болезненностью нервной и мускульной систем в частности. Как известно, самый гениальный из биологов нашего века, Дарвин, отличался почти всю свою жизнь расстроенным здоровьем, и это не помешало ему быть первым по качеству и интенсивности умственного труда. Так как этот аргумент может показаться бессильным именно в глазах гр. Толстого, который считает Дарвина ученым, стоящим ниже всякой критики, то я попробую привести другой пример.

По мнению гр. Толстого, только тот может быть признан настоящим ученым, кто трудится „для пользы народа“ и направляет свою деятельность на „участие в борьбе с природою за свою жизнь и жизнь других людей“. Этим требованиям может вполне удовлетворить самый гениальный из ныне живущих биологов, Пастер. Хотя он в глазах гр. Толстого и грешен тем, что много занимался вопросом о произвольном зарождении (который отнесен у гр. Толстого — XII, стр. 393 — к числу праздных вопросов), но зато он научил, как избавиться от болезни шелковичных червей, разорившей многих французских и итальянских крестьян, нашел способ предохранять домашних животных от сибирской язвы и некоторых других болезней, и, наконец, придумал предохранительное лечение от бешенства, спаситель-

ное по преимуществу для бедных людей вообще (которые больше подвергаются укушениям бешеных животных) и для крестьян, даже русских крестьян в частности. Притом же это лечение, пригодное не только для „тех людей, которые ничего не делают“ и „которые все могут достать себе“ (т. XII, стр. 401), так как оно производится бесплатно, придумано ученым, не принадлежащим к врачебному сословию и нередко находящимся в оппозиции к последнему, что тоже должно увеличить его вес в глазах гр. Толстого. И что же? Пастер произвел большую часть этих гениальных открытий, даже не имея возможности самому выполнять лабораторную работу, так как более двадцати двух лет у него парализована целая половина (левая) тела. Механическая его деятельность вообще сводилась лишь к прогулкам с целью отдохновения и изредка к игре на бильярде. Несмотря на свою физическую немощь, Пастер, однакоже, решил много существеннейших вопросов науки теоретической и прикладной и притом решил не одной способностью к гениальной интуиции, а упорным, неутомимым умственным трудом. С ним не случилось того, что рассказывает гр. Л. Толстой о наиболее образованном члене одной знакомой ему общины, — члене, который должен был готовиться днем к вечерним лекциям. „Он делал это с радостью, чувствуя, что он полезен другим и делает дело хорошее. Но он устал от исключительно умственной работы, и здоровье его стало хуже. Члены общины пожалели его и попросили итти работать в поле“ (XII, 444).

Помимо сказанного, многочисленные примеры людей с параличом ног, продолжающих работать мозгом и руками, а также безруких, работающих ногами и достигающих значительного умственного развития, убеждают в том, что учение о необходимости усиленного физического труда для умственной деятельности должно быть ограничено. Сошлюсь для примера на один частный случай, представляющий нам крайнее недоразвитие тела <sup>1)</sup>. Несколько лет назад напоказ публики была выставлена старая девица, лет 50—60, имевшая росту не более пол-аршина, при чем голова, нормальных размеров, занимала около половины длины всего тела. На ничтожном, искривленном туловище были прикреплены маленькие руки, из которых правая не могла совершать движений без помощи левой; ноги, в сильной степени атрофированные, оставались в горизонтальном положении и были совершенно неподвижны. Несмотря на поразительное недоразвитие костной и мышечной систем, у описываемого субъекта „все чувства, равно как и умственные способности, память и способность суждения были превосходно развиты“. Необходимо также иметь в виду, что, с другой стороны, и требования серьезного умственного труда не допускают траты значительного количества времени на мышечную работу. Достижение тех, практически столь важных, результатов Пастера и его лаборатории, о которых я только что

<sup>1)</sup> См. статью проф. А. Брандта, *Archiv für pathologische Anatomie*, 1886 июль, стр. 540.

упоминал, было мыслимо лишь благодаря упорному и непрерывному труду, продолжавшемуся часто по двенадцати часов в день. Ученые, преследующие какую-нибудь серьезную задачу, в лучшем случае могут совершать небольшую прогулку в виде отдыха и часто не успевают отвечать на все делаемые им запросы. Какая же при этом возможность ограничивать умственный труд четырьмя часами в день, отдавая восемь часов на физический труд и еще четыре часа на общение с людьми? Немыслима, даже с первого взгляда менее трудная комбинация, предлагаемая некоторыми другими реформаторами общественной жизни, которые требуют, чтобы каждый человек „ежедневно посвящал четыре или пять часов на производительный труд“, т.-е. „на производство необходимых принадлежностей жизни, доставку сырого материала и обучение“, тем более, что и сами авторы такого проекта признают, что „при подобных условиях мы, быть может, будем иметь менее Дарвинов, т.-е. менее тех гениев, которые трудами, составляющими плод тридцатилетней работы, производят переворот в науке и создают новые отрасли знания“. Их и теперь чересчур мало, этих гениев, а что же будет, если в самом деле осуществится проектируемая реформа?

Я близко знаю одного русского ученого, который, будучи совсем молодым человеком, в шестидесятих годах (следовательно, задолго до проповедей гр. Л. Толстого), задумал соединить занятия естественными науками с образом жизни, основанным на теории „гармонического отправления частей для блага целого“. С этой целью он стал жить, стараясь по возможности сам удовлетворять своим потребностям, совершенно вроде того, как впоследствии гр. Л. Толстой, когда он решил, что он должен делать все, что ему „самому нужно — мой самовар, моя печка, моя вода, моя одежда“ (XII, 432). Только мой ученый обходился вовсе без самовара и старался, елико возможно, упростить жизненный обиход, лишь в редких случаях чистя платье и сапоги, прибирая комнату и пр. Несмотря на то, что уже вскоре стали сказываться очень чувствительные неудобства от такого „соединения труда“, тем не менее, молодой естествоиспытатель оставался верным принципу и крепился сколько было сил. Но однажды, глубокой осенью, он серьезно захворал и, находясь в беспомощном состоянии, был перевезен друзьями на их квартиру и принят на их доброе попечение. С тех пор он уже не возвращался к „естественному“ и „гармоническому“ образу жизни.

Свой вывод о возможности сократить умственный труд до четырех часов в день гр. Л. Толстой основывает, очевидно, на неверных данных. Так, например, он говорит о „свободных у каждого умственного работника десяти часах в день“ (XII, 454) и утверждает, что „служитель науки, т.-е. служитель и учитель истины, заставляя других людей делать для себя то, что он сам может сделать, половину своего времени проводит в сладкой еде, курении, болтовне, либеральных сплетнях, чтении газет, романов и посещении театров“ (XII, 395). Я нисколько не сомневаюсь в том, что гр. Л. Толстой взял эти примеры из действительной

жизни, так как и мне самому известны подобные случаи (причем „болтовня“ и „сплетни“ носят нередко и совсем не либеральный характер), но я решительно не признаю возможным основывать на них оценку людей, серьезно занимающихся наукой и двигающих ее вперед. Достаточно сколько-нибудь близкого знакомства со многими русскими и западно-европейскими учеными для того, чтобы решительно утверждать, что в подобной праздности они нимало не повинны, и что их образ жизни отнюдь не мирится с употреблением ежедневно восьми часов в день на мускульный труд и четырех — на общение с людьми. Случаи же, действительно поразительные, на которых гр. Толстой основал свое неправильное заключение, доказывают лишь то, что есть люди, которые совершенно напрасно и несправедливо пристроились к науке, и относительно которых было бы очень желательно, чтобы они даже и четырех часов в день не посвящали умственному труду, а занимались бы исключительно физическим. Беда только в том, что такие люди всегда останутся глухи к проповедям гр. Толстого и что их совесть вообще ничем расшевелить невозможно.

Говоря о необходимости продолжительного физического труда, гр. Л. Толстой часто ссылается на свой собственный пример. Никто не сомневается в том, что гр. Толстой — гениальный беллетрист, который доставил людям неисчислимое благо, но именно его-то пример и не может служить аргументом в пользу его воззрения. Писательство большей частью не требует такого продолжительного и разнообразного труда, как другие виды умственной деятельности и особенно научные занятия. Хотя гр. Толстой и говорит, что он „занимался всю свою жизнь умственным трудом“ (XII, 441), но из его же собственных признаний видно, что он „половину дня прежде проводил в тяжелых усилиях борьбы со скукою“ (XII, 443), и что самые дорогие требования его от жизни, „именно требования тщеславия и рассеяния от скуки, происходили прямо от праздной жизни“ (XII, 435). При таких условиях, разумеется, очень хорошо, что гр. Толстой обратился к усиленному физическому труду, хотя нельзя не пожалеть, что, принимаясь за публицистические и философские трактаты, он не уделил больше четырех часов в день на умственную работу. Чересчур продолжительное упражнение мышечной системы, очевидно, не оставило ему достаточно времени, чтобы ознакомиться со многими научными вопросами, относительно которых он часто высказывает очень резкие и совершенно неверные суждения (например о дарвинизме, о бесполезности исследований, о протоплазме и о мн. др.).

Предлагаемый гр. Толстым проект ограничения разделения труда не может быть принят как по шаткости его естественно-исторической основы (необходимости развивать все свойственные организму части), так равно и по невозможности ограничить требования серьезного умственного труда. Из того, однакоже, что разделение труда между людьми не может быть устранено, еще не следует, чтобы человеческая совесть не возмущалась неспра-

ведливостью черезчур усиленного разделения труда и не искала способов помочь беде. Решение этой задачи, составляющее идеал, к которому стремятся многие люди, будет правильно только под условием, если от него не пострадают самые существенные интересы умственного труда, необходимого для борьбы с природою вообще и с отрицательными сторонами человеческой природы в частности.

## V.

Ссылка на свойства женской природы как на доказательство того, что вся деятельность женщины должна исключительно сосредоточиваться около рождения, кормления и воспитания детей, и что поэтому занятия науками для нее представляют нечто неестественное и нежелательное, сделалось до того избитым местом, что ее повторяют везде и всюду, у нас и на западе Европы, ученые и неученые люди. На ту же точку зрения стал и гр. Л. Толстой со свойственной ему страстностью. Я уже приводил некоторые выдержки из его статей, которые целиком посвящены развитию этой темы. Уже в библии сказано, что женщине дан закон рождения детей, всякое отступление от которого неестественно и преступно. Для этой цели нет надобности в занятии науками, которое, под предлогом развития, ведет к „одурению“ и к тому же препятствует рождению детей (XII, 462). „Женщина, проводящая большую часть своей жизни в свойственном исключительно ей труде рождения, кормления и возвращения детей, будет чувствовать, что она делает то, что должно, и будет возбуждать уважение и любовь других людей, потому что исполняет то, *что предназначено ей по природе*“ (468).

Я не знаю, как смотрит теперь на все это гр. Толстой после того как он написал „Крейцерову сонату“ и „Послесловие“ к ней, но я тем охотнее останавливаюсь на приложении метриопатического воззрения к женскому вопросу, что здесь, повидимому, представляется самое серьезное затруднение для взглядов, которые я провожу в своих очерках. Нельзя в самом деле отрицать, что женская природа специально приспособлена к произведению и воспитанию детей, а не к выполнению высших форм умственной работы. Все попытки доказать противное, как, например, в известном трактате Дж. С. Милля о женщинах, обнаруживают лишь с большою силою справедливость этого положения.

Недостаток инициативы — качества, столь существенного для занятия высшими родами человеческой деятельности, как наука и искусство, составляет одну из выдающихся особенностей женского склада. Это видно даже в такой области как музыка, где, несмотря на отличную и продолжительную школу, женщина не могла пойти дальше виртуозности. Вряд ли будет ошибочно предположить, что женщины вообще учатся музыке гораздо больше и дольше, чем мужчины, и, несмотря на это, из них не вышло ни одной хотя бы второстепенной композиторши. Даже



в сферах кулинарного и швейного искусств женщины обнаруживают несравненно менее таланта, чем мужчины. И самый организм их представляет род остановки в развитии, как в этом можно убедиться при сравнении женского и мужского черепов и целого ряда других признаков <sup>1)</sup>.

Нельзя согласиться с мнением тех, которые думают, что чисто женская деятельность для поддержания потомства может быть без труда совмещена с серьезным занятием какой-нибудь отраслью науки или искусства; немногие исключения, на которые ссылаются в подобных случаях, не могут быть возведены в общее правило. Примеры же из крестьянской жизни, где женщина согласует произведение часто многочисленного потомства с усиленным физическим трудом, еще менее доказательны, так как тут, во-первых, идет речь о физическом, а не умственном труде, несравненно более прихотливом, а главное, от этого совмещения получается крайне небрежное выращивание и воспитание детей, сопряженное с значительной смертностью последних.

Если, с одной стороны, нельзя не признать, что женская природа, приспособленная более специально для целей размножения, стоит ниже мужской по отношению к высшим проявлениям умственного труда, то, с другой стороны, нельзя не видеть, что уже с довольно давних пор среди женщин назрело серьезное и твердое стремление к самым высшим сферам человеческой деятельности. Это стремление очень многим казалось неестественным, незрелым и смешным, простой погоней за какой-то модой; но непреложные факты показали противное. Разумеется, между многими женщинами, пожелавшими проникнуть в эту новую и трудную для них область, оказалось немало и таких, у которых эти стремления были недостаточно серьезны и прочны, и которые поэтому должны были остановиться или попятиться назад; но нашлись и такие, которые остались верны своему идеалу.

С первого взгляда легко может показаться, что во всем этом заключено какое-то основное противоречие; но при ближайшем рассмотрении дела предположение это падает. Очевидно, что в так называемом женском вопросе обнаруживается сильное внутреннее, как бы инстинктивное стремление опередить природу, перешагнуть узкие рамки, наложенные „естественными свойствами“ женского организма. И в этом нет ничего особенно парадоксального, так как сходные явления совершались и теперь совершаются в животном мире.

Так как высшие животные, т.-е. позвоночные, не представляют нам случаев столь развитой общественности как человек, то нам поневоле придется спуститься в область более низких животных. К счастью, насекомые, являющие нам примеры очень сложной общественной жизни, оказываются высоко одаренными и во многих других отношениях. Среди них наиболее развитые общества наблюдаются у термитов, муравьев и пчел. Хотя последние две группы насекомых и относятся к одному и тому же отряду

<sup>1)</sup> См. Очерк „Вступление в брак“, Вестник Европы, 1874, I.

(перепончатокрылых), тем не менее не может подлежать сомнению, что общественность развилась у них вполне независимо друг от друга. О совершенно же самородном происхождении общественных форм термитов не может быть и вопроса, так как эти насекомые принадлежат к другому отряду — прямокрылых. Что же мы наблюдаем у них? Оказывается, что во всех этих наиболее сплоченных и сложных животных обществах, рядом с разделением труда между различными особями, установилось бесплодие значительного количества индивидуумов, и притом гораздо больше среди женских особей. Бесплодные самцы развились только у термитов. Эти бесплодные насекомые выполняют все общественные работы, а некоторые из них играют роль воинов, защищая гнезда от нападения и, в свою очередь, нападая на других животных.

Тот факт, что при столь тесном общественном сплочении обязательно и независимо друг от друга (т.-е. помимо наследственной передачи) развилось бесплодие большинства особей, уже само по себе указывает на крайне важное значение этого явления для благополучия, счастья целой общины.

При рассмотрении вопросов человеческой жизни с естественно-исторической точки зрения обыкновенно встречается то важное неудобство, что у людей мы находим еще незаконченные, часто только начинающиеся явления, тогда как у животных, которых мы берем для сравнения, процессы представляются в их готовой, окончательной форме. Так и в данном случае. В то время как у людей замечаются лишь первые шаги на пути к бесплодию, у общественных насекомых, как у муравьев, пчел и термитов уже вполне установилось такое разделение отправлений, при котором лишь немногие члены общины служат для размножения, огромное же большинство их, негодное для производства потомства (за исключением разве некоторых особенных случаев), выполняет все работы и охраняет безопасность общины. Было бы поэтому очень интересно, если бы можно было подыскать пример более подходящий, т.-е. найти такой случай, который бы позволил нам несколько ближе проникнуть в самый процесс возникновения бесплодия у самок общественных насекомых.

Обратимся с этой целью к одному виду осы, водящемуся во Франции и южной Германии, известному под названием „галльской осы“ (*Polistes gallica*) и превосходно изученному покойным зоологом Зибольдом<sup>1)</sup>. У этой осы еще не произошло такого глубокого разделения особей, как у пчел, муравьев и термитов. Кроме самцов, у нее встречаются самки, различающиеся между собою по величине: более крупные и более мелкие самки. У этих обеих форм органы размножения развиты вполне, и мелкие самки имеют так же, как и большие, все, что необходимо для оплодотворения и кладки яиц. В этом отношении они отличаются от работниц-пчел, так как у последних аппарат размножения

<sup>1)</sup> Beiträge zur Parthenogenesis der Arthropoden. Leipzig, 1871.

недоразвит, и они лишены органов, делающих возможным оплодотворение.

Но между большими и меньшими самками галльской осы уже установились значительные различия в образе жизни и инстинктах. Перезимовывают только большие самки, и они же кладут начало общине. Обыкновенно в начале весны одна такая самка устраивает сама небольшое гнездо из пережеванной древесины, из которой она приготовляет массу в роде папье-маше. Вскоре она кладет в каждую ячейку гнезда по яйцу, из которых выходят беспомощные червеобразные личинки. „Дальнейшее развитие этих личинок, — говорит Зибольд, — совершается медленно, так как самка-царица, принужденная единолично заботиться о целом гнезде, не в состоянии доставить достаточное количество корма для своих голодных личинок“ (стр. 18). В июне из таких недокормленных личинок вылупляется целый маленький рой ос, которые и оказываются вышеупомянутыми мелкими самками. Эти последние тотчас же принимаются за работу, увеличивают гнездо и доставляют новому поколению личинок обильную пищу, вследствие чего „личинки растут быстрее, становятся больше и превращаются, наконец, в более крупных ос, которые размерами не уступают самке-царице“ (21). Благодаря полезной работе мелких самок, гнезда тщательно охраняются от многочисленных ночных врагов (как, например, пауков, ухверток, мокриц и пр.), которые нередко уничтожают всех личинок в то время, когда мелкие самки еще не вылупились, а самка-царица спокойно спит, не заботясь о судьбе своего потомства.

Столь деятельные в работе для обеспечения общего блага колонии мелкие самки оказываются очень бесчувственными в любовном отношении. На ухаживание вылупившихся и созревших в течение лета самцов „мелкие самки не обращают ни малейшего внимания. Они слишком заняты уходом за личинками и обыкновенно прогоняют вон назойливых ухаживателей“ (стр. 41). Эти самки, однакоже, сохраняют способность, в случае нужды, класть неоплодотворенные яйца, из которых могут вылупиться только самцы.

В этом примере мы, таким образом, видим один из первых шагов разделения труда между самками и приобретения бесплодия среди общественных животных. Самка-царица еще выполняет работу, но она уже не может справиться сама с все́м потомством, и целой общине грозит беда, если не являются своевременно мелкие самки, занятые, главным образом, работою для „общего блага“. Природа этих самок устроена так <sup>1)</sup>, что они легко могли бы вступать в супружество. С метриопатической точки зрения так бы и следовало. Поклонники созерцания с „природными свойствами“ должны бы были возмутиться и восстать против „неестественного“ поступка мелких самок, отвергающих

<sup>1)</sup> Зибольд несколько раз (стр. 17, 20, 56) с особенным ударением настаивает на том, что в анатомическом отношении мелкие самки устроены так же точно, как и крупные, и имеют все устройство, необходимое для брачной жизни.

женихов, предпочитающих оставаться в девственности целую жизнь и посвящать последнюю уходу за чужими детьми. Те же проповедники должны бы были не менее возмутиться и поведением самки-царицы, плодящей множество детей, которых она сама не в состоянии охранить и прокормить, а передает для этого в чужие руки. Если бы обе формы самок послушались голоса таких моралистов и перестали следовать своим стремлениям, то, как легко предвидеть, община бы распалась, и отдельные члены ее пострадали бы. Повиновение же таким инстинктивным побуждениям, несмотря на кажущуюся неестественность, привело к развитой общественной жизни, какую мы видим, например, у пчел.

Вся эта история галльской осы убеждает в том, что *изменения инстинктивные, функциональные могут идти впереди изменений органов и показывать им путь*. Можно предсказать, что если дальнейшее развитие общественности у этой осы пойдет по тому же направлению, то оно приведет к изменению в устройстве органов размножения у мелких самок и к установлению двух резко отличных форм: работниц и цариц, подобно тому, как это встречается у пчел.

Если мы приложим добытые данные к женскому вопросу, то должны будем прежде всего заметить, что природные свойства женского организма, приспособленного к деторождению, не могут служить ни малейшим препятствием к удовлетворению стремления некоторых женщин посвятить себя высшим сферам умственного труда. Для этого даже нет надобности, чтобы у таких женщин было такое же равнодушие к браку, как у девственных галльских ос, хотя и известны многочисленные примеры отращения женщин к брачной жизни. Эти и многие другие, вообще довольно частые в человеческом роде, отклонения половых инстинктов указывают на то, что первый шаг на пути к бесплодию уже сделан. Весьма возможно, что с этого начался процесс обособления в человеческих обществах, сходный с тем, который гораздо далее подвинулся у насекомых, и что современем установится, хотя и не столь резкое, разделение людей на наиболее и наименее плодотворных или даже и вовсе бесплодных. Последние, имея возможность посвятить себя исключительно высшим сферам человеческой деятельности, будут служить обществу главным образом умственным трудом<sup>1)</sup>.

Боязнь, что при таком неравномерном распределении размножения люди, высшие в умственном отношении, не оставят прямого потомства, которое бы могло поддерживать и развивать наиболее драгоценные для общества качества, оказывается при ближайшем рассмотрении несостоятельной. Пример насекомых с

<sup>1)</sup> Насколько этот вопрос сложен даже с чисто биологической точки зрения, показывает тот факт, что сам же Мечников выше в предисловии говорит, что „гениальность вообще составляет вторичный половой признак“ и находится в связи с ролью сока предстательной железы (простаты). Этим своим утверждением он совершенно уничтожает заявление, что в будущем высшими сферами человеческой деятельности займутся „вовсе бесплодные“. Ст. Кр.

крайним обособлением бесплодия и разделением труда в общинах доказывает вполне, что недеятельные и неразвитые родители (царица и трутень у пчел) могут производить гораздо более способных и трудолюбивых потомков (пчел-работниц), и что изменения, наблюдаемые у этих бесплодных насекомых, могут повторяться и совершенствоваться в целом ряде поколений. Это может быть объяснено таким образом. Самка производит массу яиц, в которые вложены самые различные задатки; в то время как в одних зародышах вполне развились только одни из этих задатков, у остальных развились совершенно другие. Пчела-царица с слабо развитым мозгом, произведшая работниц с очень совершенной нервной системой, сама могла иметь неразвившиеся впоследствии задатки очень высоко одаренного мозга, Дарвин приводит еще следующий пример. Есть породы озимого левкоя с махровыми, следовательно бесплодными, и простыми, дающими семена, цветами. Последние будут соответствовать царицам у пчел, а махровые цветы—бесплодным работницам. Левкой эти размножаются исключительно семенами, из которых происходят, однакоже, большей частью махровые цветы и только в более редких случаях простые, семяноносные. Здесь махровость передается посредством немахровых, простых цветов. В приложении к человеку это ведет к предположению, что плодовые люди будут передавать по наследству признаки своих высоко одаренных бесплодных родителей. Эти последние, как нужно думать, оказались выдающимися лишь вследствие того, что в них совершилось полное развитие задатков, которые были получены ими непосредственно от их плодовых родителей. Положим, что в какой-нибудь семье есть ясно выдающийся, но бесплодный деятель. Сам он не может передать своих признаков потомству, но сходный талант может обнаружиться у какого-нибудь другого члена семьи, например, у племянника, сестры или брата. Предположения эти, равно как и факты унаследования у общественных насекомых и озимых левкоев, вполне вяжутся с современными представлениями о наследственности, по которым признаки, приобретенные после рождения, никогда не передаются потомству. Последнее же получает лишь задатки, которые могут передаваться из поколения в поколение и развиваться обильно или глхнуть.

Боязнь, что установление частного бесплодия поведет к общему вымиранию, тоже не должна быть признана основательной, так как при процессе дальнейшего обособления, рядом с бесплодием одних индивидуумов, должна или, по крайней мере, может усиливаться плодовитость других, подобно тому как это совершилось в мире общественных насекомых. Уже и теперь мы видим, что в семье, в которой есть несколько детей, не составляет существенного отягощения иметь их еще двоих или троих, между тем как жизнь бездетного супружества сразу изменяется самым коренным образом с той минуты, как в ней рождается ребенок. Необходимо также иметь в виду, что с успехами культуры и главным образом научной медицины смертность вообще, и в детском возрасте в особенности, уже и теперь значительно умень-

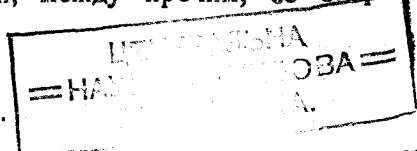
шившаяся, будет современем становиться все меньше и меньше. Возможно даже, что вызванное этим увеличение народонаселения обусловит необходимость позаботиться об уменьшении числа рождений, и тогда подготовленное развитием частное бесплодие обогатит всю свою полезность.

Пример постепенного понижения процента увеличения народонаселения во Франции, о котором теперь, после доклада Ланьо, идет так много толков, ничего не доказывает в нашем вопросе. Во всяком случае тут не может быть и речи о пагубном влиянии женского научного образования, так как оно почти целиком отсутствует у французских женщин. Уже скорее как раз наоборот. Распространение среди них серьезного образования, способного только искоренять вкусы к роскоши и пустым утехам в жизни вообще, может содействовать поддержанию необходимого уровня размножения.

Не забегая далеко вперед, можно и теперь убедиться в пользе посещения высших курсов и вообще участия женщин в высшем умственном труде. Не говоря о тех из них, которые остаются верными своей специальности и идут по раз избранному пути, даже те женщины, которые потом покидают высшие сферы деятельности, сохраняют все-таки вкус к ним и поддерживают его в близких им людям, вместо того чтобы противодействовать развитию и потворствовать стремлениям к пустой и праздной жизни. Хотя, как выше было сказано, женщины в музыкальном отношении стоят значительно ниже мужчин, но сколько пользы принесли они успехам музыки тем, что развивали и поддерживали вкус к ней в детях и вообще близких им! Кому не известен в этом отношении пример матери нашего гениального композитора и виртуоза А. Рубинштейна, игравшей такую роль в развитии музыкального таланта своих детей? То же самое приложимо и к научной области.

Мы получаем в результате этого рассмотрения женского вопроса с биологической точки зрения, что и тут, как во многом другом, самые интересы развития не вяжутся с преклонением пред готовыми и несовершенными формами, данными природным устройством человеческого организма, а, напротив, требуют чуткого и внимательного отношения к проявляемым стремлениям к идеалу, который упорно пробивается наружу, несмотря на всякие оказываемые со всех сторон и, между прочим, со стороны гр. Л. Толстого препятствия.

VI.



При рассмотрении женского вопроса нам пришлось целиком разойтись с воззрением гр. Л. Толстого, который в данном случае последовательно стоит на принципе преклонения пред готовыми формами человеческой природы и во имя его попирает идеал, ясно выразившийся. В вопросе об умственном и мускульном труде мы также были вынуждены возражать графу Толстому;

только тут мы выделили исповедуемый им идеал—проповедь против роскоши и стремление помешать превращению человека в бессмысленную машину—от попытки доказать, что необходимо отодвинуть научную деятельность на задний план и обратиться к усиленному мышечному труду.

Нельзя не сочувствовать гр. Л. Толстому в его проповеди гуманности и мягкого обращения с людьми и животными, но не потому, чтобы мучить и убивать людей и животных было „противно и мучительно природе человека“, а, несмотря на то, что мучить людей и животных очень свойственно человеческой природе. Подобно тому как детеныши хищных животных играют в травлю, а взрослые животные наслаждаются мучением своих жертв, так и дети находят большей частью величайшее удовольствие в мучении и убийстве животных. Столь распространенная страсть к охоте у детей и у взрослых, воинственные наклонности и зверство, обнаруживаемое во всех случаях, когда делается возможным свободное проявление инстинктов, служат явными опровержениями мнения гр. Л. Толстого.

Можно предположить, что наклонности зоологических прародителей человека были очень свирепы, и что эти предки характером своим скорее напоминали гориллу, чем шимпанзе. От них-то должны были унаследоваться те зверские привычки, которые так часто дают себя чувствовать в человеческом мире.

Несмотря на все это, нельзя не желать, чтобы в борьбе со злом, возникающим из дурных сторон человеческой природы, употребляемы были сколь возможно мягкие меры. Разумеется, невозможно согласиться с гр. Л. Толстым, когда он допускает насилие только по „отношению к ребенку и только для избавления его от предстоящего ему тотчас же зла“. (В чем моя вера, стр. 195), так как в действительности должно быть признано несравненно большее число исключений, в которых необходимо прибегнуть к насилию. Но тут различие не принципиальное, а чисто количественное, раз сам гр. Толстой признает, что правило: „не противясь злу насилием“ не может быть применено во всей его последовательности. С другой стороны, нельзя не пожелать распространения его на приемы литературной критики и полемики, так как чересчур запальчивая речь с пеной у рта, клеймение противников позорными эпитетами и приписывание им самых низких побуждений („оглушение“ противников, „одурение“ противниц, „дармоеды“ ученые и художники, жрецы науки и искусства, „самые дрянные обманщики“, и многое другое, чем пересыпаны статьи гр. Л. Толстого) может только повредить делу, заставив, пожалуй, подумать, что такие приемы служат лишь для прикрытия слабости основной аргументации.

В какую сторону мы бы ни обратили внимание во всех этих жизненных вопросах, везде мы видим более или менее резкое раздвоение. С одной стороны, унаследованная от животных предков природа со всеми ее отрицательными сторонами, с другой—

сильное, непреодолимое стремление к идеалу, к лучшему будущему. Это последнее выражается то в форме верований в такое состояние, когда люди предстанут в ином образе, и воцарится справедливость, то в форме мечтаний о золотом веке, который осуществится на земле, то в виде веры в прогресс, и историческую справедливость. Хотя критике удастся разрушить эти иллюзии, тем не менее, в конце концов все же всплывает иногда луч надежды на то, что положение, быть может, еще не так отчаянно. При этом необходимо всегда иметь в виду, что многие вопросы, которые прежде казались неразрешимыми, уступили человеческому уму и энергии, и что, успешно борясь с природою, человеку удалось многое изменить, если не в своей собственной природе, то в природе окружающих его существ.

Процесс, посредством которого совершалось развитие и изменение форм в органическом мире, сводится в конце концов к естественному подбору, т.е. к переживанию существ, наиболее одаренных в борьбе за существование, рядом с вымиранием наименее приспособленных организмов. В результате этого процесса получилось множество органических видов, носящих на себе явные признаки целесообразности в устройстве их тела. Нужно думать, что и человек обязан своим происхождением той же силе естественного подбора, проявившей свое действие на каком-нибудь зоологическом человекообразном прародителе.

Воззрение это, составляющее сущность дарвиновского учения, в течение более чем тридцатилетней борьбы выдержавшего самую тяжелую пробу, в настоящее время составляет краеугольный камень всей биологии, да и не одной только биологии, а и других, соприкасающихся с ней, отраслей знания. Правда, гр. Л. Толстой считает его результатом „праздных играний мысли людей так называемой науки“ (XII, 382) и думает, что от него можно отделаться двумя, тремя шуточками (например вроде приписывания дарвинизму нелепости, будто „из роя пчел может сделаться одно животное“) и возражением, „что никто никогда не видал, как делаются одни организмы из других“ (там же), точно будто наука может ограничиваться только тем, что можно видеть непосредственно глазами! Я не стану здесь останавливаться долее на этой „критике“, так как она не заключает в себе ни одного признака таковой, и считаю себя тем более в праве сделать это, что мною был напечатан целый ряд статей в „Вестнике Европы“ за 1876 год, в которых я старался изложить в популярно-научной форме все значение дарвиновского учения, не скрывая, разумеется, и его недостатков.

В человеческом мире, рядом с развитием сознательности, „естественное“ стало уступать место „искусственному“<sup>1)</sup>, и естественный подбор стал перерождаться в искусственный. Произошло это потому, что „искусство“ значительно ускорило процесс развития, оказавшись, следовательно, вообще очень полезным.

<sup>1)</sup> Термин „искусственный“ подбор надо заменить термином „социальный“, и тогда будет более правильное понимание роли этой „социальной“, или искусственной, среды.



Поясним это последнее положение примером. Перемена климата застала и человека, и животных недостаточно приспособленными к низкой температуре; но в то время как у последних это приспособление могло совершиться лишь с помощью развития обильного волосяного покрова и отложения подкожного жира, у человека оно произошло благодаря искусству одеваться. К счастью, наши предки не остановились перед тем, что, так как природа создала их голыми, то они не должны были прикрываться „нестественной“ одеждой; они последовали своему непосредственному чувству, побуждавшему их согреться, и в результате оказались победителями над природою.

Захватывая все большую и большую область, искусство стало менять и облик организмов, окружавших человека. При этом с очень давних пор выступил на сцену искусственный подбор, посредством которого удалось в относительно короткое время отобрать и упрочить путем наследственности множество драгоценных для человека свойств. В тех случаях, когда такой подбор совершается вполне сознательно, люди, посвятившие себя этой специальности, начинают с того, что намечают прежде всего цель, к которой они должны стремиться. Дарвин, резюмируя данные о подборе голубей, выражается так: „Подбор производится методически в том случае, когда заводчик старается улучшить или изменить породу, согласно предвзятому *идеалу* <sup>1)</sup>. Установление последнего не есть дело простой фантазии или прихоти; для того, чтобы наметить идеал, который бы был осуществим, необходимы точное знание природы организма и достаточная доля инициативы. Идеал этот никогда не будет простой копией с действительности, а всегда результатом синтеза последней с человеческим воображением и мышлением. Вот почему даже в такой узкой и определенной области, как искусственный подбор домашних животных, требуется так много данных от намечающего путь „идеалиста“. Многочисленные любители животных и растений устраивают собрания, на которых они, после долгого обсуждения, намечают идеал, к которому должно стремиться, и выражают его в программе, за осуществление которой полагается приз“.

Этот процесс подбора может служить образцом того, как должно сложиться „искусство“ в более высоком и широком смысле слова, т.-е. как изящное искусство, так и житейское искусство, или практическая философия. В обоих на первом плане должен быть поставлен идеал как продукт синтеза внутреннего и внешнего мира. Изящное искусство не должно быть реалистическим, в смысле рабского подражания действительности; оно может и должно переходить за пределы последней. Когда любитель-садовод или животновод вызывает созданный им идеал на рисунок, то последний изображает животное или растение не такими, каковы они в действительности, а такими, какими они должны быть впоследствии. Только если он серьезный „идеалист“,

1) Прирученные животные и возделанные растения. Русск. пер., I, стр. 227

то в своем идеале он будет сообразоваться с природою и ее законами, которых нельзя обойти.

То же и в житейском искусстве, или этике. Моралист не должен останавливаться рабски перед готовыми формами, как бы „естественны“ или „свойственны природе“ они ни казались. Он должен стараться перешагнуть через эти границы, чтобы идти по направлению к идеалу, наметченному опять-таки на основании всех данных действительности.

Во всей этой обширной области искусства требуется, следовательно, идеализм, основанный на точном и всестороннем знании. Если бы кому-нибудь вздумалось наметить идеалом приобретение крыльев, согласно представлению о воздушных ангелах и других подобных существах, то такая цель должна была бы быть отвергнута на основании закона, по которому развитие летательной перепонки или настоящих крыльев стесняет движение конечностей, столь важных для человека, и еще на основании того, что ближе к цели можно притти усовершенствованием воздухоплавания. Если же идеалом является, например, изменение некоторых природных свойств, мешающих женщине удовлетворить непреложное стремление в высшие сферы человеческой деятельности, то я не вижу причины, почему бы нельзя было направить искусство к достижению такой цели.

Бесспорно, что переход от естественного подбора к сознательному, искусственному в приложении к человеку должен составить критический и поэтому крайне трудный период в жизни человечества. Он требует, с одной стороны, свободного развития идеальных стремлений для определения того разумного идеала, к которому можно направить деятельность; с другой стороны, он немыслим без значительных успехов положительного знания. Так как оба эти условия касаются самых деликатных и нежных отпрысков человеческой деятельности, которые легко глохнут от слишком грубого прикосновения действительности, то неудивительно, что по временам может явиться сомнение в успешности дальнейшего развития и самый мрачный взгляд на будущность.

Вывод, сделанный более тридцати лет назад Боклем в результате обзора пути, пройденного человечеством, подтверждается с каждым днем все более и более. Самые прочные успехи, добытые людьми, это именно те, которые совершены при помощи положительного знания. Самые серьезные надежды, которые можно лелеять, должны быть возложены на дальнейшие успехи в той же области. Отсюда ясно, что непосредственной нашей целью должно быть все то, что может в наибольшей степени содействовать этим успехам.

Против науки и развивающейся под ее влиянием культуры уже не раз раздавались самые страстные протесты. Остановить ее движение они, однако же, были не в силах. Не менее талантливая, чем полемика гр. Л. Толстого, проповедь Ж.-Ж. Руссо, действовавшая притом в такое время, когда знание еще пусто

далеко меньшие корни, и та не была в состоянии хоть сколько-нибудь заметно затормозить успехи его. Нужно надеяться, что и новая проповедь автора статьи „О назначении науки и искусства“ не окажет большого влияния.

Правда, у нас существуют, повидимому, какие-то особенные условия, благоприятствующие всему, что враждебно науке и культуре. Замечательно, что при той склонности к исканию идеала, о которой было упомянуто в начале этой статьи, у нас в то же время пользуются особенной симпатией учения, идущие против науки. Стремление в народ, возвращение к физической работе, „упрощение жизни“ и пр.,—все это только различные формы, в которые облеклась потребность разорвать связь с серьезным научным трудом. Не объясняется ли это явление до некоторой степени примером из жизни той общины, о которой говорит гр. Л. Толстой и наиболее образованный член которой, после приготовления к вечерним работам, „устал от исключительно умственной работы“ (XII, 444)? Быть может, наши мозги, лишь с недавнего времени направленные на умственный труд, просто не выдерживают того упорного и постоянного напряжения, которое необходимо для серьезного занятия наукою, и инстинктивно влекут нас назад. Некоторую аналогию этому явлению представляют примеры из жизни более первобытных людей, которые, несмотря на обширные природные дарования и на легкость, с какой они усваивают европейскую культуру и науку, по истечении известного времени разрывают со всем этим и успокаиваются только тогда, когда возвращаются к своему прежнему образу жизни. Если это предположение справедливо, то беде можно помочь правильной организацией обучения и постепенным приучением к упорной мозговой работе. В таком случае можно надеяться, что неутомимый научный труд, соединенный с непреодолимым стремлением к идеалу, не замедлит принести обильные плоды.

---